



Освальд Арнольд Готтфрид ШПЕНГЛЕР (нем. Oswald Arnold Gottfried Spengler; 29 мая 1880 года, Бланкенбург, Германия – 8 мая 1936 года, Мюнхен) – выдающийся немецкий культуролог, историософ и философ, представитель философии жизни, публицист консервативно-националистического направления.

Шпенглер – создатель циклической теории истории. Его учение призвано было преодолеть механистичность распространенных в XIX в. глобальных схем эволюции культуры как единого восходящего процесса становления мировой культуры, где европейская культура выступала как вершина развития человечества.

Мировая культура у Шпенглера предстает как ряд независимых друг от друга, замкнутых культур, каждая из которых имеет свой темп развития и отведенное ей время жизни. За этот период каждая культура, подобно живому организму, проходит несколько стадий: от рождения через молодость,

зрелость, старость до смерти. Исходя из этого Шпенглер создает концепцию одновременности явлений в разных культурах, отделенных промежутками в тысячелетия, но проходящих три одинаковые этапа: мифо-символическая ранняя культура, метафизико-религиозная высокая культура, поздняя цивилизационная структура. В жизни каждой выделяются две линии развития: восходящая (культура в собственном смысле) и нисходящая (цивилизация). Первая характеризуется развитием органических начал культуры, вторая – их заострением и превращением в механистические, выражающиеся в бурном развитии техники; разрастании городов в мегаполисы; в появлении массовой, технологически ориентированной культуры; превращении региональных форм в мировые; наступлении эпохи цезаризма. История культуры начинается с варварства примитивной эпохи, затем развивается политическая организация, искусства, науки и т. д. В классический период культуры наступает их расцвет, сменяющийся окостенением в эпоху декаданса, и, наконец, культура приходит к новому варварству, когда все становится предметом торговли, вульгаризируется. Конец или закат культуры означает ее переход в фазу цивилизации.

Обширное и знаменитое исследование О. Шпенглера – «Закат Европы» (1918) – в последнее время, в связи с кризисом Европейского Союза и НАТО – вспоминается особенно часто, хотя не так часто цитируется в научной литературе. Заметное место отводится в указанной работе проблематике России. Здесь мы публикуем ряд методологических положений Шпенглера и фрагменты, в которых специально рассматривается специфика русской культуры.

ЗАКАТ ЕВРОПЫ: ОЧЕРКИ МОРФОЛОГИИ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

[Т. 1. Образ и действительность. Введение].
«Древность – Средневековье – Новое время: такова та невероятно скудная и бессмысленная схема, абсолютное господство которой над нашим историческим сознанием всегда мешало нам правильно оценить небольшую часть мира, развернувшуюся со времени немецких императоров на территории Западной Европы, понять ее действительное место в системе всемирной истории, то есть всеобщей истории высшего человечества, уразуметь ее смысл, ее облик и особенно продолжительность ее жизни. Будущим культурам покажется почти невероятным, что этот план, с его наивной прямолинейностью и нелепыми пропорциями, становящийся с каждым столетием все

более бессмысленным и совершенно не допускающий естественного включения вновь выступающих на свет нашего исторического сознания областей, – что этот план все же никогда не вызывал серьезных сомнений (...)

Вместо монотонной картины линейно-однообразной всемирной истории, держаться за которую можно только закрывая глаза на подавляющее количество противоречащих ей фактов, я вижу феномен множества мощных культур, с первобытной силой вырастающих из недр породившей их страны (...) и каждая из них налагает на свой материал – человечество – свою собственную форму и у каждой своя собственная идея, собственные страсти, собственная жизнь,

желания и чувствования. Вот краски, свет, движения, каких не открывал еще ни один умственный глаз. Есть расцветающие и стареющие культуры, народы, языки, истины, боги, страны, как есть молодые и старые дубы, цветы, ветки, – но нет стареющего человечества. У каждой культуры – свои собственные возможности... Они – живые существа высшего порядка, вырастают со своей возвышенной бесцельностью, подобно цветам в поле. (...)

Что такое цивилизация, понимаемая как логическое следствие, завершение и исход культуры? Потому что у каждой культуры своя собственная цивилизация. В первый раз эти два слова рассматриваются здесь в периодическом смысле, как выражение строгой и необходимой последовательности фактов. Цивилизация есть неизбежная судьба культуры. Здесь мы достигаем того пункта, с которого становятся разрешимыми последние и труднейшие вопросы исторической морфологии. Цивилизация – это те самые крайние и искусственные состояния, осуществить которые способен высший вид людей. Они – завершение, они следуют как ставшее за становлением, как смерть за жизнью, как неподвижность за развитием, как умственная старость и окаменевший мировой город за деревней и за душевным детством... Они – неизбежный конец, и тем не менее с внутренней необходимостью к ним всегда приходили».

[Т. 1. Образ и действительность. Гл. 2. Проблемы мировой истории. Пар. 1. Физиогномика и систематика]. «Культуры суть организмы. История культуры – их биография. (...) история китайской или античной культуры морфологически представляет собой полную аналогию с историей отдельного человека, животного, дерева или цветка. Если мы хотим узнать ее структуру, то сравнительная морфология растений и животных давно уже подготовила соответствующие методы (методы интуитивные). Феноменами отдельных, следующих друг за другом, рядом вырастающих, затеняющих и подавляющих одна другую культур исчерпывается все содержание истории. И если предоставить всем ее образам, которые до сего времени слишком основательно были скрыты под поверхностью тривиально протекающей т. н. «истории человечества», свободно проходить под умственным взором, то, в конце концов, несомненно, удастся открыть тип, первообраз культуры как таковой, освобожденной от всего затемняющего и незначительного, и лежащий, как идеал формы, в основе всякой отдельной культуры (...)

Течение истории до сего момента затруднительно для обозрения. Как вполне созревшие образования, каждое из которых, следовательно, является телом достигшей своего полного завер-

шения душевной стихии, можно рассматривать китайскую, вавилонскую, египетскую, античную, арабскую, западную культуру и культуру майя. В качестве находящейся в возникновении перед нами культура русская (...)

Культура зарождается в тот момент, когда из первобытно-душевного состояния вечнодетского человечества пробуждается и выявляется великая душа, некий образ из безобразного, ограниченное и преходящее из безграничного и пребывающего. Она прорастает на почве строго ограниченной местности, к которой она и остается привязанной, наподобие растения. Культура умирает после того, как эта душа осуществит полную сумму своих возможностей в виде народов, языков, верований, искусств, государств и наук и, таким образом, вновь возвратится в свою первичную душевную стихию. Ее жизненное существование (...) есть глубоко внутренняя, страстная борьба за утверждение идеи против великих сил хаоса и внутренней бессознательности... Когда цель достигнута... культура вдруг застывает, отмирает, ее кровь свертывается, силы ее надламываются – она становится цивилизацией. И она – огромное засохшее дерево в первобытном лесу – еще многие столетия может топорщить свои гнилые сучья. Мы наблюдаем это на примерах Египта, Китая, Индии и мусульманского мира...

Всякая культура переживает возрасты отдельного человека. У каждой имеется свое детство, юность, возмужалость, старость...

При наступлении старости, начинающейся цивилизации, огонь души угасает. Угасающие силы еще раз делают попытку, с половинным успехом – в классицизме, родственном всякой умирающей культуре – проявить себя в творчестве большого размаха; душа еще раз с грустью вспоминает в романтике о своем детстве. Наконец, вялая и остывшая, она теряет радость бытия и стремится – как в римскую эпоху – из тысячелетнего света опять в потемки перводушевной мистики, назад в материнское лоно, в могилу. Вот в чем очарование, которым некогда привлекали к себе умирающий Рим культуры Исида, Сераписа, Гора и Митры, те саамы культы, которые вызвала к жизни, как раньше, мечтательное и боязливое выражение своего существования, и наполнила новой искренностью только что пробуждающаяся к жизни новая душа на Востоке».

[Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. Гл. 3. Проблема арабской культуры. Пар. 1. Исторические псевдоморфозы]. «Историческими псевдоморфозами я называю случаи, когда чуждая древняя культура довлеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот – ее родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только что не доходит до

складывания чистых, собственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосознания. Все, что поднимается из глубин этой ранней душевности, изливается в пустотную форму чуждой жизни; отдавшись старческим трудам, молодые чувства костенеют, так что где им распрямиться во весь рост собственной созидательной мощи?! Колоссальных размеров достигает лишь ненависть к явившейся издалека силе.

Таков случай арабской культуры. Ее предстория лежит всецело в регионе древнейшей вавилонской цивилизации, бывшей на протяжении двух тысячелетий добычей сменявших друг друга завоевателей (...)

Другой псевдоморфоз у всех нас сегодня на виду: петровская Русь. Русские героические сказания – былинные песни – достигают своей вершины в киевском круге сказаний о князе Владимире (ок. 1000) с его «рыцарями круглого стола» и о народном герое Илье Муромце. Всю неизмеримость различия между русской и фаустовской душой можно проследить уже на разнице между этими песнями и «одновременными» им сказаниями об Артуре, Германарихе и Нибелунгах времени рыцарских странствий – в форме песней о Хильдебранде и о Вальтере. Русская эпоха Меровингов начинается с ниспровержения татарского господства Иваном III (1480) и ведет через последних Рюриковичей и первых Романовых – к Петру Великому (1689–1725). Эта эпоха точно соответствует времени от Хлодвига до битвы при Тертри (687), в результате которой Каролинги фактически получили всю полноту власти. Я советую всякому прочесть «Историю франков» Григория Турского, а параллельно с этим – соответствующие разделы старомодного Карамзина, прежде всего те, что повествуют об Иване Грозном, Борисе Годунове и Шуйском. Большого сходства невозможно представить. Вслед за этой московской эпохой великих боярских родов и патриархов, когда старорусская партия неизменно билась против друзей западной культуры, с основанием Петербурга (1703) следует псевдоморфоз, втиснувший примитивную русскую душу вначале в чуждые формы высокого барокко, затем Просвещения, а затем – XIX столетия. Петр Великий сделался злым роком русскости. Припоминается его «современник» Карл Великий, планомерно и со всею своей энергией осуществивший то, чему ранее помешал своей победой Карл Мартелл: господство мавританско-византийского духа. Имелась возможность подойти к русскому миру на манер Каролингов или же Селевкидов, а именно в старорусском или же «западническом» духе, и Романовы приняли решение в пользу последнего. Селевкиды желали видеть вокруг себя эллинов, а не арамеев. Примитивный московский царизм

– это единственная форма, которая впору русскости еще и сегодня, однако в Петербурге он был фальсифицирован в династическую форму Западной Европы.

Тяга к (...) Византии и Иерусалиму, глубоко заложенная в каждой православной душе, обратилась светской дипломатией, с лицом, повернутым на Запад. За пожаром Москвы, величественным символическим деянием пранарода, в котором нашла выражение маккавейская ненависть ко всему чуждому и иноверному, следует вступление Александра в Париж, Священный союз и вхождение России в «Европейский концерт» великих западных держав. Народу, предназначением которого было еще на продолжении поколений жить вне истории, была навязана искусственная и неподлинная история, постижение духа которой прарусскостью – вещь абсолютно невозможная. Были заведены поздние искусства и науки, просвещение, социальная этика, материализм мировой столицы, хотя в это предвремя религия – единственный язык, на котором человек способен был понять себя и мир; и в лишенном городов краю с его изначальным крестьянством, как нарывы, угнездились отстроенные в чуждом стиле города. Они были фальшивы, неестественны, невероятны до самого своего нутра. «Петербург самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре», – замечает Достоевский. Хотя он и родился здесь, у него не раз возникало чувство, что в одно прекрасное утро город этот растает вместе с болотным туманом. Вот и полные духовности эллинистические города были рассыпаны повсюду по арамейскому крестьянскому краю – словно жемчужины, глядя на которые хочется протереть глаза. Такими видел их в своей Галилее Иисус. Таково, должно быть, было ощущение и апостола Петра, когда он увидел императорский Рим.

Все, что возникло вокруг, с самой той поры воспринималось подлинной русскостью как отравка и ложь. Настоящая апокалиптическая ненависть направляется против Европы. А «Европой» оказывалось все нерусское, в том числе и Рим с Афинами, – точно так же, как для магического человека были тогда античными, языческими, бесовскими Древний Египет и Вавилон. «Первое условие освобождения русского народного чувства это: от всего сердца и всеми силами души ненавидеть Петербург», – пишет Аксаков Достоевскому в 1863 г. Москва святая, Петербург – сатана; в распространенной народной легенде Петр Великий появляется как Антихрист. То же самое слышится нам и из всех апокалипсисов арамейского псевдоморфоза: от книг Даниила и Эноха и до эпохи Маккавеев, вплоть до Откровения Иоанна, Баруха и 4-й книги Эздры – против Антиоха, Антихриста, против Рима, Вавилонской

блудницы, против городов Запада с их духом и пышностью, против всей вообще античной культуры. Все, что возникает, неистинно и нечисто: это избалованное общество, пронизанные духовностью искусства, общественные сословия, чуждое государство с его цивилизованной дипломатией, судопроизводство и администрация. Не существует большей противоположности, чем русский и западный, иудео-христианский и позднеантичный нигилизм: ненависть к чуждому, отравляющему еще не рожденную культуру, пребывающую в материнском лоне родной земли, – и отвращение к собственной, высотой которой человек наконец пресытился. Глубочайшее религиозное мироощущение, внезапные озарения, трепет страха перед приближающимся бодрствованием, метафизические мечтания и томления обретаются в начале истории; обострившаяся до боли духовная ясность – в ее конце. В двух этих псевдоморфозах они приходят в смешение. «Все они теперь на улицах и базарах толкуют о вере», – говорится у Достоевского. Это можно было бы сказать и об Иерусалиме с Эдессой. Эти молодые русские перед войной, неопрятные, бледные, возбужденные, пристроившиеся по уголкам и все занятые одной метафизикой, рассматривающие все одними лишь глазами веры, даже тогда, когда разговор, как кажется, идет об избирательном праве, химии или женском образовании, – это просто иудеи и первохристиане эллинистических больших городов, на которых римляне взирали так иронично, брезгливо и с затаенным страхом. В царской России не было никакой буржуазии, вообще никаких сословий в подлинном смысле слова, но лишь крестьяне и «господа», как во Франкском государстве. «Общество» было стоявшим особняком миром, продуктом западной литературы, чем-то чуждым и грешным. Никаких русских городов никогда и не бывало. Москва была крепостью – Кремлем, вокруг которого расстилался гигантский рынок. Город-морок, который теснится и располагается вокруг, как и все прочие города на матушке-Руси, стоит здесь ради двора, ради чиновников, ради купечества; однако то, что в них живет, это есть сверху – обретшая плоть литература, «интеллигенция» с ее вычитанными проблемами и конфликтами, а в глубине – оторванный от корней крестьянский народ со всей своей метафизической скорбью, со страхами и невзгодами, которые пережил вместе с ним Достоевский, с постоянной тоской по земному простору и горькой ненавистью к каменному дряхлому миру, в котором замкнул их Антихрист. У Москвы никогда не было собственной души. Общество было западным по духу, а простой народ нес душу края в себе. Между двумя этими мирами не существовало никакого понимания, никакой связи,

никакого прощения. Если хотите понять обоих великих заступников и жертв псевдоморфоза, то Достоевский был крестьянин, а Толстой – человек из общества мировой столицы. Один никогда не мог внутренне освободиться от земли, а другой, несмотря на все свои отчаянные попытки, так этой земли и не нашел. Толстой – это Русь прошлая, а Достоевский – будущая. Толстой связан с Западом всем своим нутром. Он – великий выразитель петровского духа, несмотря даже на то, что он его отрицает.

Это есть неизменно западное отрицание. Также и гильотина была законной дочерью Версалия. Это толстовская окочухая ненависть вешает против Европы, от которой он не в состоянии освободиться. Он ненавидит ее в себе, он ненавидит себя. Это делает Толстого отцом большевизма. Все бессилие этого духа и «его» революции 1917 г. выплескивается из оставшихся в его наследии сцен «И свет во тьме светит». Достоевскому такая ненависть незнакома. С той же самой страстной любовью он вбирал в себя и все западное. «У меня две родины, Россия и Европа». Для него все это, и дух Петра, и революция, уже более не обладает реальностью. Он взирает на все это как из дальнего далека – из своего будущего. Его душа апокалиптическая, порывиста, отчаянна, однако она в этом будущем уверена. «Я хочу в Европу съездить, – говорит Иван Карамазов своему брату Алеше, – и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними». Толстой – это всецело великий рассудок, «просвещенный» и «социально направленный». Все, что он видит вокруг, принимает позднюю, присущую крупному городу и Западу форму проблемы. Что такое проблема, Достоевскому вообще неизвестно. Между тем Толстой – событие внутри европейской цивилизации. Он стоит посередине, между Петром Великим и большевизмом. Все они русской земли в упор не видят. То, с чем они борются, оказывается вновь признанным самой той формой, в которой они это делают. Это все не апокалиптика, но духовная оппозиция. Ненависть Толстого к собственности имеет политэкономический характер, его ненависть к обществу – характер социально-этический; его ненависть к государству представляет собой политическую теорию. Отсюда и его колоссальное влияние на Запад. Каким-то образом он оказывается в одном ряду с Марксом, Ибсеном и Золя. Его произведения – это не Евангелия, но поздняя, духовная лите-

ратура. Достоевского не причислишь ни к кому, кроме как к апостолам первого христианства. Его «Бесы» были ошиканы русской интеллигенцией за консерватизм. Однако Достоевский этих конфликтов просто не видит. Для него между консервативным и революционным нет вообще никакого различия: и то, и то – западное. Такая душа смотрит поверх всего социального. Вещи этого мира представляются ей такими маловажными, что она не придает их улучшению никакого значения. Никакая подлинная религия не желает улучшить мир фактов. Достоевский, как и всякий прарусский, этого мира просто не замечает: они все живут во втором, метафизическом, лежащем по другую сторону от первого мира. Что за дело душевной муке до коммунизма? Религия, дошедшая до социальной проблематики, перестает быть религией. Однако Достоевский обитает уже в действительности непосредственно предстоящего религиозного творчества. Его Алеша ускользнул от понимания всей литературной критикой, и русской в том числе; его Христос, которого он неизменно желал написать, сделался бы подлинным Евангелием, как и Евангелия пражского христианства, стоящие всецело вне всех античных и иудейских литературных форм. Толстой же – это маэстро западного романа, к уровню его «Анны Карениной» никто даже близко не подошел; и точно так же он, даже в своей крестьянской блузе, является человеком из общества.

Начало и конец сходятся здесь воедино. Достоевский – это святой, а Толстой всего лишь революционер. Из него одного, подлинного наследника Петра, и происходит большевизм, это не противоположность, но последнее следствие петровского духа, крайнее принижение метафизического социальным и именно потому всего лишь новая форма псевдоморфоза. Если основание Петербурга было первым деянием Антихриста, то уничтожение самим же собой общества, которое из Петербурга и было построено, было вторым: так должно было оно внутренне восприниматься крестьянством. Ибо большевики не есть народ, ни даже его часть. Они низший слой «общества», чуждый, западный, как и оно, однако им не признанный и потому полный низменной ненависти. Все это от крупных городов, от цивилизации – социальнополитический момент, прогресс, интеллигенция, вся русская литература, вначале грезившая о свободах и улучшениях в духе романтическом, а затем – политико-экономическом. Ибо все ее «читатели» принадлежат к обществу. Подлинный русский – это ученик Достоевского, хотя он его и не читает, хотя – и также потому что – читать он не умеет. Он сам – часть Достоевского. Если бы большевики, которые усматривают в Христе ровню себе, просто социального революционера, не были

так духовно узки, они узнали бы в Достоевском настоящего своего врага. То, что придало этой революции ее размах, была не ненависть интеллигенции. То был народ, который без ненависти, лишь из стремления исцелиться от болезни, уничтожил западный мир руками его же подонков, а затем отправит следом и их самих – тою же дорогой; не знающий городов народ, тоскующий по своей собственной жизненной форме, по своей собственной религии, по своей собственной будущей истории. Христианство Толстого было недоразумением. Он говорил о Христе, а в виду имел Маркса. Христианство Достоевского принадлежит будущему тысячелетию».

[Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. Гл. 5. Мир форм экономической жизни. Пар. 1. Деньги]. «Римляне были евреями той эпохи. Напротив того, евреи были тогда крестьянами, ремесленниками, мелкими производителями, т.е. они обращались к занятиям, сделавшимся в готическую эпоху объектом их торговых операций. В том же положении находится сегодня «Европа» по отношению к русским, чья всецело мистическая внутренняя жизнь воспринимает мышление деньгами как грех. (Странник у Горького в «На дне» и весь вообще мир идей Толстого). Здесь сегодня, как в Сирии во времена Иисуса, простираются один поверх другого два экономических мира: один верхний, чужой, цивилизованный, проникший с Запада, к которому, как подонки, принадлежит весь западный и нерусский большевизм; и другой – не ведающий городов, живущий в глубине среди одного лишь «добра», не подсчитывающий, а желающий лишь обмениваться своими непосредственными потребностями. К лозунгам, оказывающимся на поверхности, надо относиться как к голосам, в которых простому русскому, занятому всецело своей душой, слышится воля Божья. Марксизм среди русских покоится на ревностном непонимании. Высшую экономическую жизнь петровской Руси здесь только терпели, но ее не создавали и не признавали. Русский не борется с капиталом, нет: он его не постигает. Кто вчитается в Достоевского, предощутит здесь юное человечество, для которого вообще нет еще никаких денег, а лишь блага по отношению к жизни, центр которой лежит не со стороны экономики. «Ужас прибавочной стоимости», доводивший многих перед войной до самоубийства, представляет собой непонятое литературное обличье того факта, что приобретение денег с помощью денег является для не знающего городов мышления в «добре» кощунством, а если его переосмыслить, исходя из становящейся русской религии, – грехом. Между тем как города царского режима приходят сегодня в упадок и люди обитают в них словно в деревне, под тонкой коркой мыслящего по-

городскому, стремительно исчезающего больше-визма происходит и освобождение от экономики. Апокалиптическая ненависть (господствовавшая также в эпоху Иисуса и в простом иудействе по отношению к Риму) направилась против Петербурга не только как города-местопребывания политической власти западного стиля, но и как центра мышления в западных деньгах, отравившего жизнь и направившего ее по ложному пути. Глубинной Русью создается сегодня пока еще не имеющая духовенства, построенная на Евангелии Иоанна третья разновидность христианства,

которая бесконечно ближе к магической, чем фаустовская, и потому основывается на новой символике крещения, а поскольку она удалена от Рима и Виттенберга, то в предчувствии новых крестовых походов она заглядывается через Византию на Иерусалим. Занятая исключительно этим, Русь снова смирится с западной экономикой, как смирились с римской экономикой древние христиане, а христиане готики – с еврейской, однако внутренне она в ней больше не участвует».

O. Spengler
THE DECLINE OF THE WEST

Oswald Spengler (1880–1936) – the eminent German philosopher and culture researcher, a representative of the philosophy of life; creator of the cyclic theory of history

